

Зато у нас были гуппи. Шикарный аквариум, подаренный кем-то из отцовских приятелей в лучшие времена. «Лучшие времена» у нас тоже были. Именно об их возвращении, веруя в Александра Сергеича, я загадывал, вылавливая рыбок сачком, но они не исполняли желаний. Мы с мамой по-прежнему плыли вдвоем в разбитом корыте по воле неторопливых будничных волн. Рыбки иной раз всплывали вздутыми брюшками вверх, по-прежнему бессловесные, не выдержав моей веры. Впрочем, и моя вера в них постепенно таяла.

канная абракадабрами моего первобытного творчества, хороша для растопки и ничем не хуже, чем «Правда». Понятия не имею, зачем мама продолжала выписывать эту газету. С тех пор как отец окончательно поселился у себя в мастерской, у нас не бывало традиционных выходных завтраков. «Глава семейства в ожидании трапезы уютно шуршит разворотом, кот у миски, жена жарит сырники, сынишка, пуская пузырьки, водит по столовой клеенке машинкой. После завтрака в зоопарк...»

Если уж писать эту милую сценку с нас, пустое место в отцовском кресле займет пирамида этой

макулатуры. Мама каждый вечер доставала газету из ящика и, войдя домой, сразу же говорила: «Сень, положи папе». Я шел на кухню и бросал газету в отцовское кресло. Правду за правдой. Стопка копилась, отец к нам не заходил. Когда газет становилось много, мама говорила: «Убери, пожалуйста». После школы я сбрасывал стопку на пол, складывал, перевязывал и уносил на балкон, потом мы сдавали «Правду» на вес, меняя на книги. Приемный пункт вторсырья был там, где теперь парикмахерская. Правда в обмен на Диккенса. Первый томик собрания – «Большие надежды». Помню, мама усмехнулась, когда взяла книгу в руки. Вера в Господа тогда еще не лишила ее чувства юмора.

Кота тоже не было. Лару пятнистую папа унес с собой, к тому же мама была аллергик. Зато у нас были гуппи. Шикарный аквариум, подаренный кем-то из отцовских приятелей в лучшие времена. «Лучшие времена» у нас тоже были. Именно об их возвращении, веруя в Александра Сергеича, я загадывал, вылавливая рыбок сачком, но они не исполняли желаний. Мы с мамой по-прежнему плыли вдвоем в разбитом корыте по воле неторопливых будничных волн. Рыбки иной раз всплывали вздутыми брюшками вверх, по-прежнему бессловесные, не выдержав моей веры. Впрочем, и моя вера в них постепенно таяла. «Покорми рыбок», – говорила мама, уходя на работу. «Ты кормил рыбок?» – спрашивала она, входя и протягивая мне «Правду». Она покупала корм и проверяла пакетики. Те пустели. На самом деле я был разочарован. Очень разочарован сказками Пушкина. И спускал мотылей в толчок. Мама даже написала мне черным фломастером на холодильнике: «Покорми рыбок!» Эта надпись служила причиной моей усмешки, когда я распахивал и захлопывал дверцу. Во-первых, я их презирал. Во-вторых, дрессировка: исполнишь желание – поешь. Дело, впрочем, кончилось плохо. Несколько мотылей не втянуло в слив, и мама увидела их, когда вечером решила помыть уборную. Она ничего не сказала мне, но заплакала. Я пришел, увидел тряпочку в лужице на полу, на ней парочку червячков, разом все понял и покраснел, как рак. Я и прежде знал, что ей лучше не знать о моих сложных отношениях с рыбками. Правда, дело не дошло до того, чтобы я вместе с ней заревел от жалости к пучеглазым, если уж на то пошло, почему бы не пожалеть заодно мотылей, погибших ради их пропитания страшной смертью. Можно с тем же успехом рыдать над котлетой или сосиской, над банкой тушенки. Плакать над сервелатом? Этого еще не хватало. В конце концов тут все так устроено, ты ешь корову, корова траву,

потом умрешь и станешь травой, корова жует тебя. Круговорот воды и обмен веществ, ничего личного к коровам и свиньям, кроме того, что я люблю сервелат. Создал все так и заповедовав «не убий», Господь, вероятно, имел в виду что-то совсем другое.

Нет, я не раскаялся, просто до того, как мама заплакала, я был хорошим мальчиком, и перестал им быть не потому, что спускал мотылей, а потому, что она об этом узнала. Она все плакала, всхлипывала и повторяла: «Зачем ты это сделал, Господи? Почему...» Люди часто спрашивают об этом у Бога. Просто мне, в отличие от него, пришлось отвечать за свои «неисповедимые» маме. Лишь Господь творит зло безнаказанно неподсудно. Зато и преступлений ему никто не отпустит.

Вслушав мои объяснения, мама перестала всхлипывать. Она была ошеломлена и не знала, плакать ей дальше или смеяться. Я не кормил их, потому что хотел, чтобы папа вернулся. Мне было семь, и я веровал в бога золотых рыбок. Взрослые часто забывают, что дети веруют в сказки, как сами они – в справедливость и жизненный хеппи-энд. В конце концов я поклялся ей «всем-всем-всем», что никогда так больше не сделаю... никогда. И я исполнил, что обещал. Скармливал рыбинам мотыля, добросовестно чистил аквариум и ненавидел. До тех самых пор, как перестал верить в золотых рыбок, джиннов, автобусные билетки, Деда Мороза и прочих богов. В любую добрую силу, что исполняет мои желания, кроме мамы и себя самого. Все прочие силы действуют во благо себе, и от завуча до бактерии – добро это то, что в твоих интересах.

Мама же была достаточно доверчива к «неисповедимым путям» и смиренна, чтобы после развода не лишать меня отцовского общества, и после уроков я обычно шел не домой, а к нему. Она работала до самого вечера, он же почти всегда торчал у себя в мастерской, у него было интересно.

Картины, что я видел еще вчера, исчезали бесследно. Секрета из их исчезновения он не делал – под свежим грунтом скрывались три, а то и пять-шесть его прежних работ.

В этом смысле он был чрезвычайно безжалостен... и плодовит. Иной раз работа не существовала и дня. И лишь избранные удастаивались чести висеть на облупленных, закопченных табачным дымом стенах. Мамин портрет со мной на руках, например, провисел там до самой его кончины. Он умер летом восьмидесяти шестого от апоплексического удара. Пролёжал так три дня. Дверь мастерской он всегда держал приоткрытой, для Лары пятнистой. Благодаря этому кошка просто ушла и уже не вернулась.

Впрочем, может быть, она возвращалась, но дверь еще долго была опечатана. Мама говорила, что Лара «ушла вместе с ним». Ее дело. Она доверяла Господу. Верила в то, что он обо всех позаботится. Когда я попал в аварию и ослеп, она благодарила его, что я выжил. Я благодарил того неизвестного, что сбил огонь с моих рук. Сохранил мои руки. Быть может, это был господень архангел, но верую – человек. Она говорила: «Он не дает испытаний выше меры человеческого терпения...» Только вот зачем же тогда испытывать? Но об этом я никогда не спрашивал у нее.

Оставляя дверь приоткрытой, отец не опасался быть ограбленным. Заинтересовать грабителей в его святилище могли разве что несколько работ периода ученичества да те пейзажи, что еще не были подвергнуты уничтожению, остальное же, как говорится, было писано «от пророка отечеству», «не для века, для вечности», однако и посмертная слава их не настигла.

Мне кажется, он был слегка не в себе, то есть даже во всех смыслах был крепко со странностью. Огромное пятно сине-алого цвета с изумрудной подпалиной и ослепительно белым ядром, занимавшее центральное место на кухне (наш с мамой портрет ютился справа в углу), было его гордостью, и его приятели, творцы-алкоголики, тоже очень уважали эту дурацкую штуку. Я же не видел в ней ничего, кроме сходства со скворчащим белком, избраженным дальтоником. «Я тоже так могу, все так могут», – вот что я думал. Но приятели его говорили, что «яичница» что-то там источает, что это какой-то прорыв, куда-то прорыв и так далее. На мой взгляд, чтобы прорваться, легче было просто врезать по холсту кулаком. Вот это был бы настоящий прорыв. Холст, в нем дыра, за дырой стена и гудящие косточки. Прорыв из творчества до реальности. Самый удачный в этом смысле прорыв – окно. Застекленная рама, в ней небо. Плывут облачка и светит солнышко, от которого можно согреться. Так Господь дает понять своим плагиаторам, что у него работает все, что он пишет.

Насчет «согреться». Были у него две картины, какие мне очень нравились. Обе долго находились в изгнании, за стеллажами, и однажды исчезли. Надеюсь, он все же не записал их, как прочие, а продал – они были действительно хороши. Первая звалась «Папа Карло». На ней, кто-то очень напоминавший его самого, сидит в пустой обшарпанной комнате, спиной к зрителю, у полыхающего камина. Всегда терпеть не мог этого вертлявого длинноносого гнусавого мальчика из полена. В этом холсте

отец, вероятно, отправил говорящую деревяшку по назначению.

Вторая была еще интересней и даже правдивей первой. Хотя я не знаю, обе картины были правдивы и интересны. Тот же человек, в той же комнате, опять спиной к нам, согревает руки у написанного камина. Кстати, идеальный баланс реальности и абсурда, правды жизни с самоиронией. Сам Господь топит нами камин. Все мы греем руки о пустые надежды.

Это было... по-настоящему. Так, как будто самходишь в комнату; еще шаг – и тень твоя потянется несуществующим полом к несуществующему огню, скрипнет сор под ногой, и сидящий вздрогнет и обернется. Ты не зритель – участник. Можешь повесить пальтишко на вбитый вместо вешалки гвоздь. Голые стены, опустошенные стеллажи. Живые отсветы пламени... можно было даже услышать радио (то есть радио бубнило за спиной у меня, в прихожей), но и там, внутри написанной комнаты, его было слышно. Можно было... тихо стоять за спиной человека, сидевшего у написанного камина. Почувствовать холод комнаты. Жар огня. Одиночество.

Так что картины эти вполне могли бы стать прохождением если не в другие миры, то хотя бы в иные плоскости этого, какие отец искал, размазывая губики по холсту. Однако чести висеть на стене, как я уже говорил, удостоилась лишь «яичница». Впрочем, настал день, когда отец предал анафеме и этот шедевр. Снял со стены, загрузовал и скончался. Видимо, действительно, это пятно много для него значило. Гораздо больше, во всяком случае, чем мы с мамой. Иногда он часами сидел на кухне и смотрел на эту картину. Что он в ней видел, бог его знает. Очень жаль, что не могу показать ее вам, вероятно, вы бы со мной согласились. Возможно, он и сам согласился со мной, когда ее снял.

Я любил отца, но был всего лишь одним из его «творений», которое он, быть может, тоже загрузовал бы в целях экономии времени и создания чего-нибудь лучшего. Наверное, я его раздражал. Впрочем, чаще он меня просто не замечал.

А зря. Часами просиживая в его мастерской, я наблюдал за ним, забившись в угол, стараясь не раздражать его, не напоминать о себе, «мяукая» меньше пятнистой Лары, делал не только уроки, но и выводы. Я учился. В конце концов мамулин Господь не так уж много времени дал мне на изучение и запоминание созданного им полотна.

Нельзя сказать, чтобы он писал свои «пятна» из головы. На широком подоконнике, рядом с лопухой головой Нефертити, которую, кстати, тоже не ми-

нула участь превращения в нечто лимонно-желтое на пронзительно красном, у него стоял микроскоп. Так что пятна эти писаны были с натуры; результат наблюдений за невидимым, но существующим. Отец смотрел в микроскоп и брался за кисть. Появлялось Оно – пятно, или пятна. Очередное творение, очевидно, какое-то время обладавшее для него смыслом, возможно, даже что-то и источавшее, чем-то заряженное. Его энергией? Да. Но недолго. Портреты покойников тоже обладают подобной энергией. Сперва они улыбаются вам из окон своих черных рам, слушают, хмурятся, одобряют, иногда даже сердятся. Пыль садится на фотостекло, свечи тают, копятяся в блюде огарки, выцветают краски, ветшает паркет. Ремонт. Утепленный балкон. Соседи уже не те. Время тикает, заведешь ли, не заведешь часы, сохнет, осушив до дна рюмочку, одуванчик. Все эти горькие подношения мертвым живых – веточка сирени, симферопольский камушек, абхазская шишка. Мертвые отдаляются. Каменеют просфорки, облатки крошатся, заступники и угодники падают вниз за стол, их лень поднимать. Улыбки тускнеют. Годы меняют лица живых, над ушедшими время не властно, любимые образа по-прежнему только свет, только он все дальше и дальше.

Словом, никакого такого прорыва я в отцовских пятнах не видел, и смысла тоже. К чему повторять то, что уже существует, если это не так красиво, как Шишкин лес, дворики Поленова, март Левитана или долгие туманы Куинджи. Однако безумие заразительно, знаю одно: наблюдая за ним (тогда еще неосознанно), принял решение довести до шишкинского совершенства владение кистью и уже потом переносить на холст; но не то, что вижу снаружи, и не то, что видит он сам, увеличивая линзой чайную плесень с алоэ. «В моем шкафу кто-то есть...» Я хотел сделать видимым то, что, подобно пятнам в его микроскопе, существовало в моей собственной голове. Сделать видимым то, что никто, меня кроме, не видит. Сделать это реальностью для других. «Мы пойдем другим путем», – как говаривал Владимир Ильич в незабвенном забытом.

У мамы тогда был отпуск, мы с ней жили на даче, отца нашел один из его приятелей, и потом уже разыскали нас. Мама не взяла меня на похороны в Москву. Сдала на неделю соседке. Помню, я тогда чувствовал, что должен чувствовать «что-то такое», мне хотелось этому соответствовать, хотя бы в глазах соседки, и я действительно горевал – ревел, потому что уехала мама. Соседка жалела и утешала меня, не подозревая себя истинной причиной моего отчаянья; ведь если бы не она, мама взяла бы меня с собой.

Смерть же отца не была и так и не стала для меня реальным событием. Как в истории с котом Шредингера. Кот в мешке. Либо да, либо нет. Сидя в закрытом ящике, кот не жив и не мертв, пока не откроешь этот ящик Пандоры.

Люди не видят дальше себя и не понимают больше себя. Без зеркала вряд ли смогли бы с достоверностью описать свой собственный нос. А если зеркала врут? А они врут. И я подношу правую руку к стеклу, а мое отражение – левую. В этом все дело. И не только люди, блоха живет в шерстяном лесу, муравей, карабкаясь на вершину горы, не подозревает коленки, безграничное ограничено зоной видимости. Доступного знания, вот что я имею в виду.

Смерть же отца не была и так и не стала для меня реальным событием. Как в истории с котом Шредингера. Кот в мешке. Либо да, либо нет. Сидя в закрытом ящике, кот не жив и не мертв, пока не откроешь этот ящик Пандоры. Не сама смерть, а очевидность ее лишает возможности выбора, возможности чуда; знание ему приговор. Но и знание и очевидность напоминают ловушку для дураков, и тупик для слепцов не отменяет туннеля. Мир за стеной не перестанет существовать от того, что вам он не виден. Знание порождает вопросы. Час порождает час. Смерть порождает жизнь. Конечное знание невозможно там, где мир бесконечен.

Реальность – то, что можно увидеть, а мертвым отца я так никогда и не видел. Надгробие? Да, разумеется, наш гранит на Донском. Но позолоченные буквы в камне, с промежутком между датами, ничего не говорили мне и не доказывали. «Смерть Христа», великолепная копия Альтдорфера, на стене уборной его мастерской, и та гораздо убедительней и наглядней. Самый жуткий фантастический

сон – реальность для спящего. Я его не оплакивал и не хоронил. Собственно, так отцу удалось остаться бессмертным, в моей голове. Во сне я еще долго забегал после школы к нему в мастерскую. Но об этом потом. Жизнь в тетрадный лист не уместить, зато она отлично умещается в прочерк на могильной плите.

Возвращаясь в тогда, воскрешаю черно-белые снимки маминых фотоальбомов; я уже не могу их увидеть, но я их вижу. Вот еще одно доказательство существования абсолютно нематериального мира. Альбомов этих не существует, и не только потому, что я слеп, их не существует вообще. Мама под конец жизни страдала деменцией (еще одно божье благословение) – все забыть. А забыть ей хотелось. Большие надежды, папин уход, ослепшего сына... и особенно счастье. «Ничего нет лучше, чем ничего». Видимо, фотографии мешали ей это сделать. Так что однажды она выпотрошила альбомы в ванну вместе с коробками пленок, кое-что скомкала, кое-что порвала, залила папиным растворителем и подожгла. Жизнь сгорела. Дыма было много, и соседи по коридору вызвали нам пожарных. Но к тому моменту, как те приехали, я уже залил из душа это феерическое кострище.

С ней было очень трудно тот последний год. Без нее стало хуже.

Так вот, фотографии.

Вот на этой меня еще нет. Между прочим, вот вам отличный способ заглянуть в собственное небытие. Подтверждение, что и без вас «ходили трамваи». Мама с папой, несколько бородатых отцовских приятелей. Никого из них уже нет в живых. Подтверждение, что и после выхода нескольких пассажиров трамвай продолжает путь. Новый год. Все незнакомые, некого спросить «кто это, где это», ни «кто это», ни «где это» уже нет. А часики крутят усики дальше. Мама с папой у дверей нашего Хорошевского загса, тогда Ворошиловского. Загс через дорогу от нашего дома. Стоит до сих пор. Можно даже сказать, мир зиждется на этом бетонном убогом здании эпохи брежневского строительства. Счастливые. Очень счастливые. Отец совсем молодой, но уже с бородой. Похож на пирата. Мама... мама прекрасна.

А вот и я. Станный мальчик. Бедный папа, я и в самом деле ему не удался. На руках смеющейся мамы, очень юной, очень красивой (можно понять, почему отец влюбился и женился на ней), какой-то обрюзгший и мрачный карлик, маленький старичок, напоминающий изображение Спасителя периода Ренессанса. Не дай бог такое дитя протянет к тебе ладошку.

Помнится, разглядывая собрания отцовских пинакотек, этих всех чудовищных деток, похожих на гусениц, с безобразными лицами, все удивлялся, отчего они так уродливы, но они не уродливы. Просто они старики. Именно это несоответствие отвергал тогда детский разум. Ребенок хочет видеть то, что он понимает. Взрослым, увы, не хватает на это мужества. Собственно, перед вами плод эволюции. Венец творения, если хотите. Древний младенец. Дитя есть сумма опыта человечества, и не от момента зачатия, а от первого грехопадения.

Мальчик смотрит из прошлого в будущее. Похоже, ему не очень нравится то, что он видит. Взгляд буравит бумагу. Скорее, отталкивает, чем приближает, и этим притягивает. Темные глазки еще могут видеть, запоминать. И они видят, запоминают и впитывают. Наблюдая за ним отсюда, не могу упредить его, велеть ему не прикасаться к бумаге. «Ничего нет лучше, чем ничего». Отец, пожалуй, был прав, но теперь уже поздно, к тому же где тогда будет мое наскальное «я», «здесь был Вася» – вызов, кинутый вечности.

Белизна. За ночь выпавший снег, в котором еще не запутались человеческие следы, не смешались с птичьими и собачьими. Еще дворники не разбудили железным скрежетом умершего на ночь двора, не смешали соль, грязь и копать автомобиля, но до этого недалеко. Всего лишь прикосновение фломастера к белому. И неважно, что нарисует этот жутковатый спутник моих детских забав, черно-белый мальчик, фотовспышкой припиленный к прошлому, внимательно вглядывающийся в меня сквозь глазок вневременной фотокамеры. Моей памяти. Моей головы. Первая же линия, проведенная им на листе, станет границей, что безвозвратно превратит его в бога.

* * *

Практическую телепортацию я освоил лет в шесть. Машина времени из сейчас, правда, путешествия – пока лишь по предложениям каталога. Зато каталогов в моем турагентстве детства было бесчисленно. Подпирали стопками потолок. Услуга бесплатная, перемещение мгновенное – был и нет.

Путешествие на отцовском диванчике, в уголке у валика, за пятном-«яичницей», под ворчание холодильника, без чемоданов, сборов и спутников, перемещение не в пространстве – в пространствах. Нечто вроде опытов с квантами, перенос информации. Расщепление в А, появление в Б. Исчезновение

из шляпы кролика. Главный фокус всей моей жизни. Побег из реальности.

До сих пор не верите в возможность путешествий в пространствах вне времени? Это зря. Во-первых, авиалинии. Время вылета, скажем, десять утра, лету восемь часов, расстояние тысяч семь-восемь км, и посадка в одиннадцать, в то же утро. Возражаете насчет часовых полюсов? Не имею ничего против. Разумеется, время никуда не исчезло. Только вот я говорю вам это из 2019-го. А у вас какой теперь год?

Телепортация – фокус нехитрый. Шишкин лес? Пожалуйста. Эльбрус? Бога ради. Может быть, подножие Везувия? Да, гибель Помпеи – отличный выбор. В тот миг, когда выкипающая лава гнева Господня достигнет вас, вместе с остальными несчастными, серный дым застелет глаза, а смертельный ужас их отразится в ваших зрачках, просто перелистните страницу.

Хотите увидеть, как где-то там, внизу, замечает вьюга следы, как закручивает в снежные вихри-запятые прохожих, унося их с хохотом в черные арки, как раскачивает качели, пронзительно завывая, проносится крышами, возносясь, превращает звезды в белую пыль, соседние башни – в призраки, фонари – в блуждающие огни? Просто подышите на морозный узор, пока закипает чайник. Вы в безопасности. На ужин макароны по-флотски, и пока вы будете ужинать, параллельный мир затаит свою полынью.

Кстати, я однажды провалился под лед. Как-то раз отец решил взять меня с собой на пленэр. До сих пор не могу понять, зачем было тащить в Серебряный бор этюдник со всем набором палитры, если он все равно писал только белый.

Дело было в конце февраля, я сбежал по откосу и, стараясь обратить на себя его внимание, заскакал по льду. Думаю, он не заметил бы, и если б я ушел под лед с головой. Но скакал я неподалеку берега и провалился только одной ногой. Все равно приятного было мало. Зато я понял, как тонки перегородки между реальностями, и с наслаждением проболел потом целый месяц.

Словом, нужно было просто выбрать, в какую из репродукций отцовской пинакотеки хочешь попасть, после чего сделать пальцы подозрительной трубой, чуть-чуть настроить у носа видимость, четкость-резкость-контраст, и посмотреть в окошко. Остальное пространство – холодильник, наш с мамой портрет, пятно-«яичница», стол, буфет и окно, то, что в нем, сам отец, – станет зоной невидимой. Перестанет существовать. И окажешься где хотел...

Сурки Гойи, порталы
Босха и Брейгеля...
Брейгеля! Великого
мастера здешнего ужаса,
гения, в мертвом холоде,
треске крыльев черных
ворон охотники на снегу,
битва масленицы,
триумф... И самая жуткая,
нереально реальная,
ее я мог рассматривать
бесконечно... «Игры
детей»... Я поднимался
с дивана и шел за лупой.
Лупа – тоже окно
в реальность.

Беда в том, что альбомы этого «каталога», священные книги, предоставленные мне под грифом «смотри, но молчи», были, по сути, мировым собранием ужасов. Несмотря на разность сюжетов, глянцево-страницы представляли собой нечто единое. Веер кошмаров, картотека смертей, великолепное печатное качество, запах меловки с быстрым холодком у лица. Не дай бог, Господь Бог создал мир таким, каким он является...

Впрочем, кто же еще? Мы приглашены на вселенскую выставку, приходим взглянуть на его полотна; так отец выставял свои «пятна» на Крымском валу, так показывал их приятелям, мне... Даже мне. У каждой картины есть автор, картина – автопортрет души того, кто писал ее, того, что гнездится в его голове и рвется наружу, принимая на холстах его облик. И от грехопадения до потопа, в бездне творения нет ни сочувствия, ни милосердия к зрителям. И все те, кто посетил эту выставку, ослепнут, дабы не превзойти.

Итак, сидя на папиной кухне с альбомом, я мог выбрать (тот самый дар, что был предоставлен нам

вместе с жизнью) – свобода выбора, – выбрать, в какую картину попасть, в границах данного каталога. И в этих пределах вся мерзость, жестокость и зверство мира. Ад и рай на земле. Дело рук человеческих, полотна божественной кисти. Дикость происходящего внизу, на земле, в кружочке моей ладони, сменялась безмятежной окраской неба, кружок становился синим, в нем, согласно движению моего кулачка вдоль страницы, как в калейдоскопе, принимались двигаться облачка. Безмятежные облачка.

Рассматривать то, что происходило под ними... в этом было какое-то завораживающее наслаждение. Жуткое волшебство. Смерть я впитывал в себя сладострастно. Мне хотелось участвовать в страшных судилищах, расправах, пытках, и я действительно участвовал, переносился, выпадая из времени, из себя. Я был там.

Ряженные уродцы, жуткие маски, толпы, жаждущие расправы; грузно пляшущие убийцы, арены, участники, лошади, зрители, извивающиеся, подобно табачному дыму, призраки, в глубине расправленного листа... и смерть. Смерть меня привлекала. Был ли это затравленный, залитый кровью бык, сплетенные тела грешников или ясное, выхолаживающее душу впечатление надвигающейся волны, неотвратимости гибели... я один мог спастись. Я моргал. Ресницы касались кожи. Я вздрагивал. Протирал пальцем глаз и смотрел опять.

На коленях, в углу дивана, под пятном «яичницы», мальчик листает альбом. Бережно откладывает один и берет другой. За окнами снег. Все так уютно, так мирно... Почти не слышно, что шепчут губы распятого... никому не понять, что мальчик не слышит отцовского оклика за криком обезумевшей дикой толпы.

Запах глянца не перекрывал для меня запах воображения, исходящий от репродукций. Скорее, сливался с ним. Стрелы, впившиеся в тела, младенцы, раскиданные по земле, черепа под копытами лошадей. Ладони распятого, ниточки крови, склоненная голова. Я был им, принимал на себя его боль, умирал, доводя себя воображением до сладострастного ужаса... и воскресал, перелистывая страницу.

Сурки Гойи, порталы Босха и Брейгеля... Брейгеля! Великого мастера здешнего ужаса, гения, в мертвом холоде, треске крыльев черных ворон охотники на снегу, битва масленицы, триумф... И самая жуткая, нереально реальная, ее я мог рассматривать бесконечно... «Игры детей»... Я поднимался с дивана и шел за лупой. Лупа – тоже окно в реальность. И ничего страшнее по приближению. Ничего обыденней и страшнее. Хотя... что может быть страшного

в играх детей... детки – господние ангелы... Домик, птичья клетка, качельки, вертушки, мыльные пузыри, погремушки и жмурки, детский стульчик, почти что как у меня... чет-нечет, бросание монеток, девочка кричит в отверстие в бочке... Я слышу эхо. Игрушечный магазин... дерганье за волосы, колодец, ловля жуков, чехарда, кувырканье, детская свадьба, ходули, висение вниз головой... все как в школе, и вместе с тем в эти игры играют не дети. Это не дети, они чудовища... кто сидит в синей башне? Господь. Кто владелец горы? Господь. И детишки его кошмаров водят странный безрадостный хоровод вокруг маленького слепого...

«Саломея» Луини, златовласая, напоминавшая маму, ангелоподобная падчерица Князя мира, с головой Иоанна Крестителя над жестяным блюдом, напоминающим одну из наших кухонных мисок, и с тем еще более реальную для меня...

Царь Саул, изгнавший из царства живых всех ведьм и волшебниц и отправившийся к одной из них накануне сражения с тем, чтобы, вызвав призрак своего предшественника, узнать, каков будет исход...

Боже мой! Сколько вихрей приносила с собой эта картина. Гладкий глянец страницы, погруженной во мрак, тьма, из которой появляется вызванный из царства вечности дух. Мертвый в белом саване страшен. Все здесь смерть. Жуткая колдунья со спутанной шерстью вместо волос, порывы черного ветра рисуют вызванных призраков, подобных ночным теням, едва различимых, но различимых для тех, кто хочет, жаждет их различить, всадник – застывший в диком хохоте жуткий скелет. Тень обретает свет. Белый саван, падший на колени живой человек... смерть неминуема.

Но самая страшная и манящая – «Жертвоприношение Исаака». Голова сына на жертвеннике, шея вывернута, руки заломлены, волосы спутаны, изо рта вырывается крик, неслышный крик, проглоченный вечностью, подобно крику во сне... Но мне ясно, о чем он просит, и губы мои повторяют за ним молитву к тому, кто сошел с ума, к тому, кто не знает жалости. К папе.

Я смотрю, смотрю... и мне хочется, чтобы скорей прекратился ужас этой картины... Но ужас все длится. Отец все не убивает сына, ни вчера, ни сегодня, ни завтра он его не убьет, ничего не изменится... никогда. Ожидание будет длиться и длиться, и белый город в туманной дали принадлежит незыблемой вечности, и невозмутимое небо над ними.

Смерть привлекала, манила меня, подобно тому, как зрелище автомобильной аварии привлекает

живых. Одновременно с сознанием сопричастности было ощущение безнаказанной отделенности. В любой момент я мог закрыть альбом, прекратив ужасное действие. Я тогда не знал, что оно оставалось со мной навсегда. Страстная жалость, упоение болью и возможность избавления от нее.

Может быть, мне так нравилось рассматривать ужасы отцовских пинакоток именно из-за этой возможности избавления. Но, если честно, скорее, не наказуемой сопричастности.

Я еще не скоро пойму, что от ужаса реальности, подобно перелистыванию альбомных страниц, извбавляет смерть, поняв ее сменой действия. И неважно, что принесет она, она – принесет, потому что если там ничего, это было бы милосердие, совсем не свойственное Творцу.

Милосердие в этом случае означало бы предел его кисти.

